

Человек в среде культурной Хроника смутных времен

Было это не со мной.

Вы ж договорить дайте, а потом уже.

Не со мной, а с нашим Аликом Полупановым. Вот видите. Альфредом Степановичем. Что? Будем слушать? Человеком, между прочим, не дайте соврать, весьма и весьма солидным. Он и у нас, как вы помните, еще в ЭСЭСЭСЭРе был кто? Правильно — театральный деятель. И притом какой? О! — самобытный. В одном лице вам и режиссер, и драматург, и художник с композитором, и хореограф с кем вы только ни захотите. Другого, представьте, на ту пору не сыскать — ни в нашем лагере развитого, ни в их с гнильцой, ни среди остального человечества. Сам не проверял, но энциклопедиям верю. Ни дать ни взять, человек Ренессанса, достояние нации! И сочинять ведь умел ничуть не хуже их Ибсенов с полунашими Ионесками. "В ожидании Годо"! Можно подумать! "Играем Стриндберга"! Да играйте хоть в очко, господа, да живите себе, месье, хоть в Париже, а наш Алик еще в двадцать пять по молодому такую пьесу себе набарабанил, что ее тогда же навсегда нам и запретили. "Студентка в цилиндре без ничего по бульвару на закате на самокате". Что-то вроде. Читали? Какой к черту ксерокс?! Когда было! А шестую копию машинописного или, что вернее, от руки на кальке семнадцатью разными почерками честных девушек из Черноморгидростроя не хотите?

Но я ведь что рассказать хочу.

Прибыли мы на гастроли. И не в Таллинн, скажем, который давно уже не Ревель и где нас с вами и так на дух не переносят; тогда бы понятно. Нет, в самый что ни на есть обыкновенный Кировоград, угу, который, конечно, уже тоже успел побывать даже Зиновьевском, а так вообще назван на самом деле когда-то вполне по-людски в честь Елисаветы, маменьки Иоанна Крестителя, но не в этом же дело. А в том, что Политбюро всегда нам на беду сыщет в своем нутре какого-нибудь геранта*, которому больше других, ё-маё, неймется увековечить серость свою посредством какой-нибудь запретительной кампании. И не станет жисти нам с вами ведь. А еще, конечно, в том, что Альфред Степанович Полупанов, как бы мы

* Вероятно, рассказчик рискнул создать неологизм, призванный обозначить объект геронтологии, науки, изучающей причины долголетия, но запугался в орфографии, что случается, ибо русское правописание, даже на слух, не всякому по плечу. (Прим. автора).

вам тут его сейчас ни расхваливали, а страдал уже на ту пору некой манией величия и гастрологи в провинцию переносил мэтр не без труда, не без известных потерь для бесценного своего здоровья.

Стучит он мне в номер в первый же день с утра пораньше и требует на правах начальства, чтобы я сей же момент прекратил работать над собой, если таковое имеет место, мол, и так уже более чем достаточно, — а когда он видит жизнь в таком ракурсе, то сразу ж понятно, что ему от меня что-то нужно позарез, и действительно, а в другой раз скажет: нет, старик, тебе еще лепить себя и лепить, так что пардон, но то в другой раз, — и немедленно следовал за ним, ибо есть дело и нужны люди.

Я вообще плохо умею отказывать, а с утра так и подавно. И наскоро умывшись в истоптанном заведении в конце коридора, я плетусь, зевая и кивая сентенциям Альфреда касательно постановки "Дяди Вани", что Питер Брук давал намеренно премьерой в Лондоне, откуда Алик только третьего дня и воротился, чтоб как раз, понятно, поспеть на гастрологи в бывший Елисаветград.

— Не зевай, — говорит Алик. — Это невежливо. А если уж зеваешь, то зевай вот так.

И он показывает, как это, а показать, мы знаем, он может все что угодно, и деться от этого некуда.

— Понял? Покажи, — требует он. — Ну вот, совсем другое дело.

И опять же, коль скоро мой вариант принят вот так с ходу и никто не заставляет меня повторять по тыще раз, аж до тех пор, пока Полупанову не покажется, что теперь да, оно, поехало, потекло, понеслось, то яснее ясного, что нужда во мне в то утро велика.

— Старик, ты комсомолец?

Желая показаться остроумнее, чем позволяют обстоятельства, я скакнул через один ход и ответил сразу вопросом на вопрос:

— Давай не расставаться никогда?

— Да нет, — сказал Алик. — В смысле ножик у тебя при тебе? А то они теперь бескозыркам всем всё на фиг поотрывали. И что? Теперь это ермолка, тюбетей, кипа, тиара, шапка моджахеда, да все что угодно, но только ленточки нет как нет, и зацепить не за что. Гляди!

И с этими словами помятый Полупанов извлекает из закровов потертой дубленки раздобытый им где-то, а скорее всего прихваченный в чемодане меж носков из дому сверкающий шкалик Российской, который сморщится в его лапище почти что бессмысленным мерзавчиком.

— Так борьба ж, — поясняя я отсутствие язычка на пробке. Хотя чего тут пояснять, когда и так все яснее ясного.

— Геноцид, — соглашается Полупанов. — Собственного народа.

Ножик у меня был при мне, потому что я обожаю затачивать карандаши.

— Молодчина, — хвалит Алик. — Я в тебе никогда не ошибаюсь.

При всей его сомнительности другого комплимента в то утро мне не сыскать.

— Ты б запрятал назад, — говорю. — Не афишировал бы.

— А чего вдруг? — уныло ерничает Полупанов. — Шкалик мой. Я его не крал, я его приобрел на свои. Могу чек показать из спецмагазина на Гаванной. И вообще перестройка у нас или не перестройка? Так я вот в ней фронда по данной теме, не похож?

— Похож, — говорю. — На полунепризнанного гения с бодуна перед спектаклем. Просто вылитый.

— Перед репетицией, — уточняет Полупанов, размахивая шкаликом на морозе. — На одиннадцать. Надо ж сцену их протоптать тут.

— Тем более. Прячь бутылку, а не то заметут. Здесь тебе не Лондон.

— Эх, — Полупанов, замечтавшись, возвращает шкалик в закрома. — Там, старик, в Альбионе туман. Там укрыться можно.

Этот еще совсем недавно невыездной человек удивительно спокойно относится к тому, что он теперь выездной. Все-таки, что ни говори, а масштаб личности, хотите вы или не хотите, а сказывается во всем, и в большом, и в малом.

Ближайшая забегаловка это стоячая "Гдальня" на улице имени кого-то. Не знаю, как обычно, но в то утро тут без толпы. Из рта валит пар. Вместо столов круглые на железной ноге стойки-подставки из молотого щебня в расчете один такой круг на трех-пятерых или всех, кто станет. А в меню митетей — и хватит вам. О, славные времена второй нашей молодости! Да, еще помидоры моченые.

— А стакана я вам не дам! — говорит нам, не успели преступить порог, хозяйка заведения в шапке-ушанке со звездочкой и белом фартуке поверх ватника. — И даже не просите.

— А мы не будем, — в тон ей отвечает Полупанов. — Мы у вас компот возьмем. А еще лучше сок томатный. Два.

— У вас что, повылазило? — то есть, в Кировограде, значит, тоже могут. — Разуйте буркалы, — говорит беззлобно эта добрая женщина. — Витрина ж на то и под стеклом, чтоб видеть мочь.

Эх, лень моя подруга! С тех пор минуло столько лет, а так и не вписал я сей бессмертный пассаж ни во что более объемное, чем тогда же на ходу возникшее:

Я вышел в ночь,
чтоб видеть мочь.

— Ух, ты! — воскликнул Полупанов, когда по совету хозяйки разул буркалы. — И ни чаю, да? Ничего?

— Ни-че-го! — подтвердила хозяйка, и в одиннадцать на репетиции Полупанов ее б, конечно, подправил бы и не слез бы с живой аж до тех самых пор, пока несчастная не попала б наконец в яблочко, в том смысле, что не угадала бы своей интонацией безошибочную пропорцию ледяного отчаяния с полным смирения драматизмом; но то в одиннадцать, а сейчас недоказуемо дрогнувший голос и мимолетное облачко пара изо рта вполне устроили великого постановщика. — Вы ж не слепой, — сказала она ему. — И вы же не глупый, в дубленке.

— Ладно, — сказал Полупанов. — А как насчет бумажных стаканчиков?

— Вы что, глупый? Говорю ж, ни-ка-ких. Ни бумажных и никаких.

— Ну а чашка? Вы ж из чего-то пьете в обед. Давайте мы у вас ее арендуем на пять минут за большие деньги.

— В обед домой бегаем, — сказала хозяйка, и эту ее интонацию Полупанов не стал бы трогать даже перед премьерой в Кремле. — А в заведении, согласно указу, — она извлекла из-под прилавка машинописный текст, усеянный печатями, и, демонстрируя его нам, ткнула, не глядя, красным от холода пальцем в эти самые печати, — "не держим ничего, пригодного для распития спиртных напитков". Ни-че-го.

— Эка! — восхитился я.

— Экко это Умберто, — сказал Полупанов в задумчивости. — "Маятник Фуко" читал? Так вот сейчас, — предупредил он, — нам это не поможет. Ну, а тарелку чистую, хозяйюшка, дадите?

Женщина снова извлекла листы с печатями и молча помахала ими в холодном воздухе.

— Что?! И тарелки?!!!

— Тут до вас таких уже было, — сказала эта кировоградка. — Смекались. И потому в указе, мальчики, все учли. Ничего это ни-че-го.

— Все учтено могучим ураганом, — подытожил наш деятель театра проездом из Лондона. — А митетей вы в чем подаете?

— Так вот, — хозяйка протянула нам кружок серого, слегка гофрированного по периметру картона. — Не в руки ж.

— Эка! — снова вырвалось у меня.

— Действительно, — сказал Полупанов. — Бедный Дали. Ему б до того в жизни не догадаться. И что ж у вас так во всем Кировограде?

— Ну почему? Там дальше тут кафе на углу. При всем параде. Только вас там обыщут всего на входе от шнурков до темечка и отнимут, да, а нет, так и в милицию. Вы б, мальчики, не гоношились, а обошли б нас с черного хода. Там ящик с мусором. Там из горлышка, а бутылку в снег. Так все делают. Живы, как видите.

Мы с Полупановым оглядели тех, кто жив. Их было немного. За двумя стойками в двух углах в общей сложности не больше пятерых. Меня как меня, а Полупанова осмотр, видно, не убедил.

— Два митетей, — сказал он вполне официально.

— Ну как знаете, — вздохнула хозяйка и потерла, нащупав, звездочку на шапке. — Но только в заведении из горла не рекомендую. Патруль застукает, хлопот не оберетесь. И меня пожурят.

Полупанов ей больше не отвечал. Он сопел и шуршал купюрами. Тогда я спросил:

— А у вас там под прилавком под указом кнопка красная, чтоб сигнализировать?

— А как же! — хозяйка хохотнула хриловатым контральто, и мне, хочешь не хочешь, пришлось обратить внимание на то, что она моложе, чем кажется на этом холоде, и симпатичней, чем видится в этой экипировке. — Вот вы думаете, что я пошутила, да? А вы так не думайте. Теперь же всем еще, вы знаете, и на работу надо ходить, вот о чем подумайте. А патруль заглянет, так документик личности. Почему тут, спросят, а не там, не на производстве? А нет, так туго будет. Метут всех без разбору.

— А этих? — спросил я, кивнув на тех, кто живой.

— Этих? Этих нет, — вздохнула хозяйка. — Этим уже можно.

Пронзительность формулы всколыхнула во мне что-то полубылое, из юности спортивной. Так выгоняли из команды: тебе уже можно.

— А нам, стало быть?

— А вам, стало быть, еще пока нет. Низззя.

Полупанов, сложив наконец в голове какие-то цифры, а в лапище рублевки с мелочью, возвратился в разговор:

— Метут?! А у нас после Андропова сразу перестали. Ну, в смысле за отсутствие в присутствии.

— А у вас это где? — спросила хозяйка.

А мы ее:

— А вы случайно, по разговору, не из Одессы?

— Я? Нет. Я из МГУ.

— ?...

— ...?

— А, — отмахнулась хозяйка. — Помидорчик давать?

— Кладите.

И каждому из нас вручено было по картонке с митетеем и солением, уваженными чем-то вроде томатной пасты. Мы возложили это на ближайшую стойку, и Полупанов стащил со своего лысеющего черепа мохнатую кепку с наушниками.

— Из горла не буду, — сообщил он, угрюмо глядя в митетей. — Это насиле. Я против. А ты?

— По утрам не пью, — сказал я, свято веря в то, что сказал.

— Обычно не пьешь, — поправил Полупанов. — А сейчас придется.

— Тогда и я против, — согласился я в надежде оттянуть момент истины.

— Вот видишь, — сказал Полупанов, и тут его осенило, и лик его просиял. — Гляди! Сие знак есть, а я болван старый, — и он указал на центр нашей стойки, где мирно покоился высокий стакан из шершавой пластмассы грязно-розового цвета с воткнутым в него куском от рулона туалетной бумаги со щепками. — Гони ножичек. Эврика!

Став из уважения к нашей хозяйке к ней спиной, дабы заслонить от ее добрых глаз свои манипуляции, Полупанов лихо взрезал жезл "шапки моджахеда", подхватил бумажный ком и, сверкнув глазом, выбулькал в освободившийся стакан весь шкалик одним махом.

— Вот же упрямые, — вздохнула хозяйка у него за спиной.

— Ну, пополам, — подмигнул мне расцветающий на глазах Полупанов. — Родина вас не забудет.

Он протянул свою лапищу и ухватил розовую пластмассу.

На лице его отразился ужас, который я сперва приписал проникновенному осознанию предстоящих глотков, но тут же сообразил, что произошла катастрофа. При всей своей гениальности и при всем своем могучем телосложении выдающийся деятель советского театра Альфред Степанович Полупанов оказался не в состоянии отделить пластмассовый стакан от каменной поверхности круглой стойки. В панике Полупанов навалился на стойку и заглянул в розовое нутро.

— Так и есть, — выдохнул он, как кит из-под воды. — Привинтили гады.

Я тоже заглянул. Добавить нечего.

Установление причины поубавило ужас, но не внесло ясности относительно дальнейших действий.

— Ну, а я что говорила? — сказала хозяйка. — Надо было, как все, а не как у вас там в столице.

— Да какой к черту столице! — буркнул Полупанов.

— В Лондоне, — подсказал я. — Не надо, как в Лондоне. Надо, как все.

— Поздно, — произнес Полупанов человечьим басом не по-театральному. Он вручил хозяйке в ее красные в золотых кольцах руки пустой шкалик, передал ей на временное хранение обе картонки с алюминиевыми вилками и, развернувшись ко мне, собрался, как голкипер перед пэнальти, и зычно скомандовал: — Наклоняй!

— Так говорю ж, упрямые люди, не получится, — сказала хозяйка, не дав мне толком подналечь на молотый щебень. — Все ж принайтовлено, как на крейсере.

Согласитесь, встретить поутру в кировоградской ідальні женщину в армейской шапке, свободно распоряжающуюся словом "принайтовлено", уже колоссальная удача не только для работников театра, а для любого разумного человека. Но в то утро эта удача несколько омрачалась неудачей. Мы опустили глаза долу, дабы, увы, убедиться в справедливости сказанного. Железная нога у пола расходилась натрое, и две ступни из трех были привинчены к бетону сквозь цемент между плиток крупными болтами с головками "на двенадцать".

— Уффф, — сказал Полупанов. — А откуда вы знаете, как на крейсере?

— А мой первый был с БПК.

— С чего?!

— С большого противолодочного. От него и сбежала в Москву на исторический.

— А дайте нам, пожалуйста, будьте любезны, Любовь Станиславовна, гаечный ключик, если можно, — сказал я, идя ва-банк и понимая, что от-каз будет смерти подобен.

— Не дам, — сказала хозяйка. — Потому как нету.

А смерть все не шла.

— И не Любовь, а Людмила, — хозяйка протерла полотенцем пришпиленный к фартуку ламинированный квадратик, на котором значилось: Бойченко Л.С. Шеф-повар. — И не Станиславовна, а Сергеевна.

— И не просто шеф-повар, — подхватил я, — а очаровательная женщина в расцвете сил.

— Вы экстрасенс?

— Да жуир он, каких свет не видывал, — заявил без обиняков Полупанов. — Не верьте ему, врет он все.

— Ну почему, — сказала Людмила Сергеевна. — А я как раз поверила. Только разводного у меня все равно нету.

— А как же быть?

Те, кто еще жив, из двух углов подтянулись и обступили поле нашей неравной битвы, наполнив холодную, с паром изо рта, атмосферу заведения цоканьем языков и неподдельным сочувствием.

— Гляди, одна ж нога не схвачена.

— Так, может, братцы, навалимся? А те две и отогнутыя.

— Я вам навалюсь, — сказала хозяйка, и этот план был исчерпан.

После чего, разумеется, каждый из нас попробовал крутить болты пальцами. Но ведь нельзя ж было не попробовать?

Следующие несколько минут ушли на мозговой штурм под постоянное причитание одного из живых, полуживого, что какое ж это счастье, что стаканец прихвачен накрепко и не протекает, а не то б несчастье.

Среди озвученных идей мелькнули такие. Первая: раскрутить шариковую ручку, и из корпуса получится вполне сносная трубочка.

— Так там же водка. Как ее высосешь?

— Так надо было шмурдяк лить.

Этому велели не умничать. У людей беда, а он.

Вторая: окунуть в стакан носовой платок, если чистый, впитать побольше и мигом в рот. Не стали. Третья: макать туда хлеб и есть, как тюрю. Полупанов и эту забраковал, на что знатоки пришли к выводу, что подготовка его оставляет желать лучшего и что с такой сидеть дома, а не пускаться в риск. Были и еще.

Я тем временем снял куртку и проследовал к рукомоинику на стене над тазом на табуретке. Вода в нем замерзла не вся, и мне удалось вымыть руки, а потом и ножичек хозяйственным обмылком.

— Что ты задумал?

— Значит, так, Альфред. Если это не сработает, разворачиваемся и уходим без оглядки. Уговор?

Отвертка в ножичке была короткой, и чтобы дотянуться до винта в днище стакана, мне пришлось окунуть в водку полруки. Ножичек, конечно, выскальзывал, винт, конечно, не поддавался. Помощи мне никто не предлагал, потому что мыться на такой холодрыге дураков не сыщешь. И никакая кино- и фотоаппаратура не передаст выражение глаз, следивших за моими усилиями.

— А митетей стынют, — сказала хозяйка, и это было первое и последнее неуместное, что она сморозила в тот день.

И как бы в подспорье, что ли, на выручку этому случайному диссонансу распахнулась тут же неслучайно, скрежетнув по бетону, сварная дверь

из катаного железа, и в наш зарождающийся уют полутайного братства проник весь в клубах пара беспардонный дискомфорт развитого, а теперь, чтоб ему, перестраиваемого, социализма в виде пыхтящей без намордника овчарки на поводке и двух свирепо-малиновых с мороза милиционеров в темно-синих тулупах.

Если бы, думаю, Иероним Босх проживал бы с нами о той поре бок о бок, он бы, думаю, уже изобразил бы нам с вами ту картинку со всеми ее причиндалами всем и каждому на века, и не надо б тогда ему было особо никаких иных полотен.

В моем запятанном под кашне негероическом организме возникла паника, хотя правильнее было бы свидетельствовать, что с момента моего тут, у нас, где меня угораздило, нелегкого посередке века рождения паника никогда не оставляла меня в покое; она лишь переходила из одного своего состояния в другое, подстать небезызвестному закону Михайлы Ломоносова, а интенсивность ее в диапазоне от среднестатистической до чрезвычайной всецело зависела от предлагаемых обстоятельств. Мохнатый холодок пробежал вдоль хребта и отметил уровень перепуга вдвое выше против обычного. В голове, разумеется, промелькнул калейдоскопом паноптикум отвратительных сцен, среди которых срам с позором в вытрезвителе и неизбежное после с треском изгнание Полупанова за пределы родины, а меня из партии и театра были еще не самыми душещипательными. Не досмотрев калейдоскопа, я вдруг вспомнил, что в партии не состою, и дабы исключить меня из ее рядов, меня сперва туда принять надобно, и тут же представил себе — отдельным витражом — насильное, под конвоем с овчаркой, зачисление меня в ряды КПСС по доносу из вытрезвителя. Быть может, я бы даже бы рассмеялся, но тут овчарка зарычала, и я перестал думать и воображать себе, а, ведомый одним лишь инстинктом самосохранения, продолжил, ничтоже сумняшеся, дабы ничем не выдать себя среди неровностей новой ситуации, делать, что делал, когда возникла опасность, то бишь, крутить в стакане винт наружу и сопеть сосредоточенно. После Полупанов, конечно, скажет, что актер из меня, как из верблюда балалайка, что нету во мне, разумеется, ни меры, ни вкуса, да и откуда, когда я огульно столь отвергаю, не разобравшись, и в системе Станиславского что ни попадя, и в теории Эрика Бентли, и вообще отношусь к театру по недоразумению, и что мне только и демонстрировать свое искусство, а вернее, его отсутствие, разве что вот именно перед волкодавами. Но то будет потом, не сразу, а на тот морозно-затруднительный момент, полагаю, моего верблюдства, видать, с невозмутимостью на

все про все, оказалось, хватило с лихвой. А если Полупанов против того, чтоб с лихвой, так это уж дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.

— Так, значит, — пропихнул к нам морозные слова сквозь клубы пара старший патруля в звании сержанта. — Документики готовьте, товарищи, а нету, так пройдемте, — и направился со своим подчиненным с овчаркой напрямик не к нам, из чего стало ясно, что мы ему с его подчиненным с овчаркой, значит, на закуску.

Надо думать, всё и все тут, кроме нас, были этим двоим и их собаке знакомы до обрыдлости, даже с учетом их природной тяги к любимому занятию стращать и курошать, так что нам, судя по всему, предлагался некий спектакль, который в иных обстоятельствах мог бы и развлечь не хуже любого другого спектакля, но иных обстоятельств, как водится, просто так не дадут, и если кто-то тут и мог послужить объектом развлечения, так это, как ни крути, хоть шуруп, хоть что угодно, были, конечно, мы с Полупановым сами, оба два, для любого, случись, количества зрителей.

Полупанов, надо отдать ему должное, да и кто сомневается, времени тоже зря не терял. Он отнял назад картонки с митетейми, выстроил между нами из них мизансцену скорой трапезы и чревоуважительно велел мне откусить от митетей хотя бы что-нибудь.

— Сам кусай. Я делом занят.

То, как Полупанов вращал во гневе утренними, с заревым отливом, белками глаз над страшными своими усищами, я передать не берусь ни словом, ни делом. Сюда бы к Босху хорошо бы еще и Пикассо. Пабла бы.

И опять же из чрева шепотом Альфред донес до меня:

— Побойся Бога, — это он сказал это мне, и не было у меня свидетелей, кроме вышних. — Нигилист хренов, — провещал он, не шевелясь. — Ты что ж, не видишь? Я ж вот это, — ткнул он вилки алюминий в распростертый митетей, — без вот этого, — нахлобучил он усищи над моей рукою с ножичком с отверткой в пластмассовом стакане с винтом и водкой и повторил бесшумно, — вот то без вот этого, дядя, я в себя не пропихну, хоть бы ты что, хотя б даже во имя искусства, понял?

Я кивнул. А винт все скользил и не поддавался. Да и что бы я стал с ним делать, если б он сейчас вдруг пошел?

— Кусай, — потребовал Полупанов хоть и из чрева, но на правах главного, и в глазу у него сверкнула даже кочевничья степная слеза.

Я взял в левую руку вилку, умудрился отделить митетей от принавоженной картонки и укусил. Каков он был на вкус, я расскажу только внукам у камина по достижении ими совершеннолетия.

А милиция тем временем, порывкая овчаркой и побуркивая начальником, осмотрела всех не нас и установила, что ничего предосудительного и противоправного меж нами не наблюдается.

— Жуй как следует, — велел мне Полупанов. — Не балуйся.

А сам ухватил клок туалетной бумаги и принялся отирать им себе уши и так и эдак после якобы на одном дыхании проглоченной снеди.

— Сержант Яковченко, — козырнул по-тулупному наскоро старший патруля, а младший с овчаркой зашли Полупанову с тыла. — Ваши документики.

Больше всего мне не хотелось, чтобы Полупанов стал умничать, и он, разумеется, не замедлил это и сделать:

— А у нас что, комендантский час?

— Никак нет, гражданин, — сказал сержант ледяным, холоднее, чем на улице, тоном, и мне сделалось жарко. — Зато у нас, — сказал сержант, кашлянув, — как вы изволите, рабочее время в будний день. И всем положено быть на местах при исполнении. Если, конечно, они не калеки или на пенсии.

— А те добрые люди, — не унимался Полупанов. — Они у вас по какой категории?

— А вот этим, гражданин, вам интересоваться совершенно лишне. Это наша забота установить-выяснить, кто здесь почему, а не там, где ему положено. А не ваша. Ваши документы!

Полупанов долго рылся в своей дохе, а другой рукой с бумагой расцарапал себе таки щеку над усами.

— Вот и кровь у вас, — сказал сержант. — Нехорошо. Пройдемте.

Но тут Полупанов извлек и предъявил. Я это не столько увидел краем глаза, будучи всецело занятым собственной деловитостью, сколько почувствовал по набрякшей тишине.

— Гм, — сказал сержант, раскрыв темно-вишневые корочки. Молчал он долго, хотя листать там, вроде, было нечего — раскрыл-закрыл.

— Что ж вы, товарищ Полупанов, заслуженный артист СССР, а не на работе?

Я чуть не булькнул от удивления, и первое, что представил, как Полупанов только что, копаясь в дохе, дописал на ощупь в свое обычное удостоверение главрежа еще и заслуженного, но чем, но как, и что за цвет?

— Спектакль вечером, — сказал Полупанов, и теперь в его тоне было столько же льда, сколько прежде в сержантском. — А репетиция, когда значу. Так вот.

— Да вы не воспринимайте, — сказал сержант по-свойски. — Я же пошутил. Мы же понимаем. Мы ж не с Аляски.

Он строго глянул в мою сторону.

— Монтер?

— Монтер, — сказала мне Людмила Сергеевна, а я кивнул.

— Что ж ты, — сказал сержант, — при исполнении, а запах от тебя хоть закусьвай.

— Это со вчера. Виноват.

— Рассказывай! Со вчера. Дураков, герой, знаешь где ищи? В зеркале!

Понял?

— Да понял он, — сказала мне Людмила Сергеевна. — Никакой он не герой. Ну не совсем здоров человек в мороз поутру, это правда, а понять все понял. Правда ж?

Я кивнул.

— Не мешает? — спросил сержант Полупанова.

— Да нет. Даже наоборот.

— Ну давай, крути, — сказал мне сержант. — Чтоб намертво. Чтоб вся социалистическая собственность, да, была, одна, бл, к одному. Понял?

Я кивнул.

— А вот что я не понял, — сказал сержант, — и действительно удивительно, так это заслуженный артист, а едите черт знает что. Это как же?

— А мне нравится, — сказал Полупанов чуть ли не искренне.

Сержант козырнул, и патруль покинул заведение. Овчарка, выходя, несколько раз оглянулась на меня с большим подозрением.

— Все, — я бросил ножик. — Не крутится.

Я был выжат своей игрой в этом спектакле. И сказал Полупанову:

— Мне так не нравится. Я так не люблю, чтоб меня овчарками, понятно?

Мне никто не ответил.

— Все, — сказал я. — С меня довольно. Пошли отсюда.

И вновь тишина. И взоры всех, кто тут есть, и Людмилы Сергеевны, обращены к моей скромной издерганной персоне. Как они на меня смотрели, такое и внукам не передашь.

Я сунул руку в водку и ухватил ножичек, и снова нащупал отверткой паз в головке винта.

— Да, — сказал Полупанов. Потом он скажет другое, вы помните? А тогда он сказал вот что: — А ведь ты, старик, похоже, сыграл монтера. Никуда не денешься.

— Не, — сказала Людмила Сергеевна. — Захотелось просто сержанту, чтоб вы монтер, вот и. Вы ж не наивные. Из уважения ко мне, если вам так подходит. А не захотел бы, так и.

— Нам все подходит, — сказал Полупанов, зажимая царاپину на щеке изодранным в щепки клоком туалетной бумаги. — Но замечу, любезная хозяйка, что тут, однако, больше объема, чем просто, при всем моем уважении, захотел, не захотел. Нет. Тут, понимаете, — он простер ко мне свою лапицу, — мой друг не только не сделал ничего лишнего, как положено артисту, да? Так нет! Куда там! Мой друг шагнул по ту сторону. Понимаете?

Думаю, Полупанов с его интуицией в сей миг уже вкушал недобытую еще водку и на глазах приободрялся.

— Да, он, мой друг, представьте, во всей этой вот тут действительности, среди нас с вами, не сделал вообще ни-че-го. Воплотил мечту, да? Ничего на фиг в действительности не делал. Грандиозно!

— Не спорю, — сказала Людмила Сергеевна. — Но только ментуру, мои дорогие, все равно не проведешь. И это тоже факт нашей жизни. И без него, скажу, тоже никуда.

А я сказал Полупанову:

— Я, между прочим, потел. Вот, до сих пор. Я пугался. Я, елки-палки, винт крутил. Если это безделье, так, может, Алик, рвануть нам отсюда лучше на БАМ?

Ответить мне Полупанов не успел, потому что винт, наконец, скрежетнув, поддался, и мне удалось его полпраза провернуть. По всем, кто тут был, прокатилась предположительная волна.

— Стакан надо вверх тянуть.

— Вверх его, а не то прольется!

Полупанов ухватил розовую пластмассу своей лапицей.

— Да тише ты, — сказал я. — Мне ж еще крутить. И вообще смотри, не разлей на потолок.

Под одобрительные возгласы винт стал выворачиваться из прессованного щепня.

— А что за ксива? — спросил я, хоть и кряхтя, но между прочим.

— Так вручили ж. В министерстве. По пути в Альбион. А ты, думаешь, я что обмывал?

— Я не думаю, Алик. Я кручу.

И наконец счастливый Полупанов держал в одной лапице стакан на весу, а пальцами другой что есть силы тянул вниз винт за резьбу, дабы его головка плотно прилегалась к розовому днищу.

Остальное в известном смысле труда не составляло. Пополам так пополам.

Пока мы улетали за обе щеки холодные митетей с цвиркающими солениями, публика, похлопав нас каждого по плечам и спинам, возвратилась восвоися. Внятное в ту минуту, пульсирующее чувство победы, одержанной вопреки коварным обстоятельствам, сплотило нас. В заведении в клубах пара воцарилась бессловесная эйфория. А Людмила Сергеевна, кажется, даже прослезилась от чего-то.

— Какой к черту Дали, — бурчал Полупанов. — Это ж Эсхил с Еврипидом. Классика.

— Какая ж классика? — я не соглашался. — По классике герои гибнут, сражаясь. А мы тут вроде как пока живы.

— Тут ты прав, буквоед, — бурчал Полупанов. — Но мы ж не в Древней с тобой, старик, Греции. Мы же тут дустом сыпаны, дефицитом морены. Мы ж ножом себе добудем аква виту, а туалетной бумагой вдруг возьмем да зарежемся. Ты согласен?

— Добыть — да, а резаться не хочу.

— Да нас никакой Софокл, брат, угробить уже по-своему не смог бы, так я тебе скажу. И не греки мы с испанцами, не французы с тобой с англичанами. Мы ж, старик, совки как совки, и нам их классика с их сюрреализмом, выходит, тесноваты будут. Лопнут в плечах. И на жопе лопнут.

Думаю, толкни он такую речугу на каком-нибудь съезде лет двадцать тому, так и не запрещали б его никогда, каталась бы себе его комсомолка по бульвару нагишом на самокате под "ура" и аплодисменты; судьба иной сложилась бы. Но было, как было. И оказалось, что даже в Кировограде, где все еще по инерции метут за отсутствие в присутствиях и где, как и по всей великой империи, ничего нельзя достать до двух и после семи, все достать можно, если нужно.

А было нужно, и душа раскрылась.

И мы, те, кому, по словам добрейшей Людмилы Сергеевны, все еще пока нельзя, чтоб по утрам и без документов, и те, кому, по ее ж словам, все уже давно можно, съели вместе много митетеев с цвирками и без цвирок и не раз пустили по кругу розовую чашу с необходимым в днище ее винтом. И не было в тот день репетиции. А спектакль вечером по Пристли прошел без сучка, без задоринки, а точнее, с большим задором. И, согласитесь, что же тут удивительного?

Да, нет-нет да и попадетя на глаза в старой записной телефончик Людмилы Сергеевны, но так, увы, ни разу и не пригодился.

А Полупанов давно обретается в Америке и даже мелькает там на Бродвее. Говорят, у него в мюзикле участвует дрессированный мишка. Как бы это не он сам в шкуре гризли. Недавно после долгого, в семнадцать лет, перерыва он мне телефонировал. И под конец разговора сказал среди прочего своим проникновенным баритоном нижнего регистра:

— Старик, что ни говори, а все-таки мы его тогда одолели.

— Кого? Шкалик?

— Шкалик? Ну да, а с ним заодно и весь СССР.

И тогда, осмыслив, я повторил ему его давние слова:

— Альфред, — сказал я ему. — А как оно могло быть иначе? Мы ж с тобой советские люди.

